

НАТАЛИ

В то лѣто я впервые надѣл студенческой картуз и был счастлив тѣм особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семьѣ, в деревнѣ, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и тѣлом, краснѣл при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились: «Шел бы ты, Мещерскій, в монахи!» В то лѣто я уже не краснѣл бы. Пріѣхав домой на каникулы, я рѣшил, что настало и для меня время быть как всѣ, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики и, в силу этого рѣшенія да и желанія показать свой голубой околыш, стал ѣздить в поисках любовных встрѣч по сосѣдним имѣніям, по родным и знакомым. Так попал я в имѣніе моего дяди по матери, отставного и давно овдовѣвшаго улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони...

Я пріѣхал поздно, и в домѣ встрѣтила меня только Соня. Когда я выскочил из тарантаса и вбѣжал в темную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатикѣ, высоко держа в лѣвой рукѣ свѣчу, подставила мнѣ для поцѣлуя щеку и сказала, качая головой, со своей обычной насмѣшливостью:

— Ах, вѣчно и всюду опаздывающій молодой человек!

— Ну, уж на этот раз никак не по своей винѣ, — отвѣтил я. — Опоздал не молодой человек, а поѣзд.

— Тише, всѣ спят. Цѣлый вечер умирали от нетерпѣнія, ожиданія и наконец махнули на тебя рукой. Папа ушел спать разсерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, оставшагося на станціи, очевидно, до утренняго поѣзда, старым дураком, Натали ушла обиженная, прислуга тоже разошлась,

одна я оказалась терпѣлива и вѣрна тебѣ... Ну, раздѣвайся и пойдем ужинать.

Я отвѣтил, любуясь ея синими глазами и поднятой, открытой до плеча рукой:

— Спасибо, милый друг. Убѣдиться в твоей вѣрности мнѣ теперь особенно пріятно — ты стала совершенной красавицей и я имѣю на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея и как соблазнителен этот мягкій халатик, под которым, вѣрно, ничего нѣтъ!

Она засмѣялась:

— Почти ничего. Но и ты стал хоть куда и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики... Только что это с тобой? Ты за эти два года, что я не видала тебя, превратился из вѣчно вспыхивающаго от застѣнчивости мальчишки в очень интереснаго нахала. И это сулило бы нам много любовных утѣх, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба.

— Да кто это Натали? — спросил я, входя за ней в освѣщенную яркой висячей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой лѣтней ночи окнами.

— Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназіи, пріѣхавшая погостить у меня. И вот это уж дѣйствительно красавица, не то что я. Представь себѣ: прелестная головка, так называемые «золотые» волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черныя солнца, выражаясь по персидски. Рѣсницы, конечно, огромныя и тоже черныя и удивительный золотистый цвѣт лица, плечей и всего прочаго.

— Чего прочаго? — спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора.

— А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться — совѣтую тебѣ залѣзть в кусты, тогда увидишь, чего. И сложена как молоденькая нимфа.

— Что ж ты, во вред нашему роману, так расхваливаешь ее?

— Умные люди всегда так дѣлают, забѣгают вперед...

На столѣ в столовой были холодныя котлеты, кусок сыра и бутылка краснаго крымскаго вина.

— Не прогнѣвайся, больше ничего нѣтъ, — сказала она, садясь и наливая вина мнѣ и себѣ. — И водки нѣтъ. Ну, дай Бог, чокнемся хоть вином.

— А что именно дай Бог?

— Найти мнѣ поскорѣй такого жениха, что пошел бы к нам «во двор». Вѣдь мнѣ уж двадцать первый год, а выйти куда нибудь замуж на-сторону я никак не могу: с кѣм же останется папа?

— Ну, дай Бог!

И мы чокнулись и, медленно выпив весь бокал, она опять со странной усмѣшкой стала глядѣть на меня, на то, как я работаю вилокъ, стала как бы про себя говорить:

— Да, ты ничего себѣ, похож на грузина и довольно красив, прежде был уж очень тощ и зелен лицом. Вообще очень измѣнился, стал легкій, пріятный. Только вот глаза бѣгают.

— Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты вѣдь тоже не совсѣм такая была прежде...

И я весело осмотрѣл ее. Она сидѣла с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колѣно на колѣно, немного боком ко мнѣ, под лампой блестѣл ровный загар ея руки, сіяли синелиловые усмѣхающіеся глаза и красновато отливали каштаном густые и мягкіе волосы, заплетенные на ночь в большую косу; ворот распахнувшася халатика открывал круглую загорѣлую шею и начало полнѣющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара; на лѣвой щекѣ у нея была родинка с красивым завитком черных волос.

— Ну, а что папа?

Она, продолжая глядѣть все с той же усмѣшкой, вынула из кармана маленькій серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила с нѣкоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро:

— Папа, слава Богу, молодцом. По-прежнему прям,

тверд, постукивает костылем, взбивает сѣдой кок, тайком подкрашивает чѣм-то бурым усы и баки, молодецки посматривает на Христю... Только еще больше прежняго и еще настойчивѣе трясет, качает головой. Похоже, что никогда ни с чѣм не соглашается, — сказала она и засмѣялась. — Хочешь папиросу?

Я закурил, хотя еще не курил тогда, она опять налила мнѣ и себѣ и посмотрѣла в темноту за открытыми окнами:

— Да, пока все слава Богу. И прекрасное лѣто, — ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. И я правда очень тебѣ рада. Послала за тобой еще в шесть часов, боялась, как бы не опоздал выжившій из ума Ефрем к поѣзду. Ждала тебя нетерпѣливѣе всѣх. А потом даже довольна была, что всѣ разошлись и что ты опаздываешь, что мы, если ты пріѣдешь, посидим наединѣ. Я почему-то так и думала, что ты очень измѣнился, с такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствіе — сидѣть одной во всем домѣ в лѣтнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поѣзда, и наконец услышать, что ѣдут, погромычивают бубенчиками, подкатывают к крыльцу...

Я крѣпко взял через стол ея руку и подержал в своей, уже чувствуя мучительную тягу ко всему ея тѣлу. Она с веселым спокойствіем пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и будто шутя сказал:

— Вот ты говоришь — Натали... Никакая Натали с тобой не сравнится... Кстати, кто она, откуда?

— Наша воронежская, из прекрасной семьи, очень богатой когда-то, теперь же просто нищей. В домѣ говорят по англійски и по французски, а ѣсть нечего... Очень трогательная дѣвочка, стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная, не сразу разберешь, умна или глупа... Эти Станкевичи недалекіе сосѣди твоего милѣйшаго кузена Алексѣя Мещерскаго, и Натали говорит, что он что-то частенько стал заѣзжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом — богат, подумают, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей.

— Так, — сказал я. — Но вернемся к дѣлу. Натали, Натали, а как же наш-то с тобой роман?

— Натали нашему роману все-таки не помѣшает, — отвѣтила она. — Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а цѣловаться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ея жестокости, а я буду тебя утѣшать.

— Но вѣдь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя.

— Да, но вѣдь это была обычная влюбленность в кузину и притом уж слишком подколотная, ты тогда только смѣшон и скучен был. Но Бог с тобой, прощаю тебѣ твою прежнюю глупость и готова начать наш роман завтра-же, несмотря на Натали. А пока идем спать, мнѣ завтра рано вставать по хозяйству...

И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догорѣвшую свѣчу и повела меня в мою комнату. И на порогѣ этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душѣ дивился и радовался весь ужин, — такой счастливой удачѣ своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю у Черкасовых, я долго и жадно цѣловал и прижимал ее к притолкѣ, а она сумрачно закрывала глаза, все ниже опускаая капающую свѣчу. Уходя от меня с пурпурным лицом, она погрозила мнѣ пальцем и тихо сказала:

— Только смотри теперь: завтра, при всѣх, не смѣть пожирать меня «страстными взорами»! Избавь Бог, если замѣтит что-нибудь папа. Он меня боится ужасно, а я его еще больше. Да и не хочу, чтобы Натали замѣтила что-нибудь. Я вѣдь очень стыдлива кое в чем, не суди пожалуйста по тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказанія, сразу станешь противен мнѣ...

Я раздѣлся и упал в постель с головокруженіем, но уснул сладко и мгновенно, разбитый счастьем и усталостью, совсѣм не подозрѣвая, какое великое несчастіе ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками.

Впослѣдствіи я не раз вспоминал как нѣкое злобѣщее предзнаменованіе, что, когда я вошел в свою комнату и чиркнул спичкой, чтобы зажечь свѣчу, на меня мягко метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что

я даже при свѣтѣ спички ясно увидал ея мерзкую темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть, хищную мордочку, потом с гадким трепетаніем нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчас забыл о ней.

II

В первый раз я видѣл Натали на другой день утром только мельком: она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула, — была еще не причесана и в одной легкой распашенкѣ из чего-то оранжеваго, — и, сверкнув этим оранжевым, золотистой яркостью волос и черными глазами, быстро исчезла. Я был в ту минуту в столовой один, только что кончил пить кофе и, встав из-за стола, случайно обернулся...

Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишинѣ всего дома. В домѣ было столько комнат, что я иногда путался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнатѣ, окнами в тѣневую часть сада, крѣпко выспавшись, с удовольствіем вымылся, одѣлся во все чистое, — особенно пріятно было надѣть новую косоворотку краснаго шелка, — покрасивѣе причесал свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронежѣ, вышел в корридор, повернул в другой и оказался перед дверью в кабинет и вмѣстѣ спальню улана. Зная, что он встает лѣтом часов в пять, постучался. Никто не отвѣтил, и я отворил дверь, заглянул и с удовольствіем убѣдился в неизмѣнности этой старой просторной комнаты с тройным итальянским окном под столѣтній серебристый тополь: налѣво вся стѣна в дубовых книжных шкапах, между ними в одном мѣстѣ висят часы краснаго дерева с мѣдным диском неподвижнаго маятника, в другом стоит цѣлая куча трубок с бисерными чубуками, а над ними висит огромный барометр, в третьем вдвинуто бюро дѣдовских времен с порыжѣвшим зеленым сукном откинутой доски орѣховаго дерева, а на сукнѣ клещи, молотки, гвозди, мѣдная подзорная труба; на стѣнѣ возлѣ двери, над стопудовым деревянным диваном, цѣлая галерея выцвѣтших портре-

тов в овальных рамках; под окном письменный стол и глубокое кресло — то и другое тоже огромных размеров и дубовской старины; правѣе, над широчайшей дубовой кроватью, картина во всю стѣну: почернѣвшій лаковый фон, на нем еле видные клубы смугло-дымчатых облаков и зеленовато-голубых поэтических деревьев, а на переднем планѣ блещет точно окаменѣвшим яичным бѣлком голая дородная красавица чуть не в натуральную величину, стоящая в полуоборот к зрителю гордым лицом и всѣми выпуклостями полнобѣсной спины, крутого зада и тыла могучих ног, соблазнительно прикрывая удлиненными разставленными пальцами одной руки сосок груди, а другой низ живота в жирных складках. Оглянув все это, я услышал сзади себя сильный голос улана, с костылем подходившаго ко мнѣ из прихожей:

— Нѣтъ, братец, меня в эту пору в спальнѣ не найдешь. Это вѣдь вы валяетесь по кроватям до трех дубов.

Я поцѣловал его широкую сухую руку и спросил:

— Каких дубов, дядя?

— Так мужики говорят, — отвѣтил он, мотая сѣдым коком и оглядывая меня желтыми глазами, зоркими и умными. — Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой в подушкѣ, говорят мужики. Ну, пойдѣм пить кофе...

«Чудесный старик, чудесный дом», думал я, входя за ним в столовую, в открытыя окна которой глядѣла зелень утренняго сада и все лѣтнее благополучіе деревенской усадьбы. Служила старая нянька, маленькая и горбатая, улан пил из толстаго стакана в серебряном подстаканникѣ крѣпкій чай со сливками, я, глядя, как он пьет, придерживая в стаканѣ широким пальцем тонкое и длинное витое стебло круглой золотой старинной ложечки, ѣл ломоть за ломтем черный хлѣб с маслом и все подливал себѣ из горячаго серебрянаго кофейника; улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросив меня, рассказывал о сосѣдях помѣщиках, на всѣ лады браня и высмѣивая их, я притворялся, что слушаю, глядѣл на его усы, баки, на крупные волосы на концѣ носа, а сам так ждал Натали и Соню, что не сидѣлось на мѣстѣ: что это за

Натали и как это мы встрѣтимся с Соней послѣ вчерашняго? Чувствовал к ней восторг, благодарность, порочно думал о спальнях ея и Натали, обо всем том, что дѣлается в утреннем безпорядкѣ женской спальни... Может, Соня сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нѣчто вродѣ любви и к Натали, и не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей, — отчего же нельзя любить двух? Вот онѣ сейчас войдут во всей своей утренней свѣжести, увидят меня, мою грузинскую красоту и красную косоворотку, заговорят, засмѣются, сядут за стол, красиво наливая из этого горячаго кофейника — молодой утренній аппетит, молодое утреннее возбужденіе, блеск выпавшихся глаз, легкій налет пудры на как будто еще болѣе помолодѣвших послѣ сна щеках и этот смѣх за каждым словом, не совсѣм естественный и тѣм болѣе очаровательный... А перед завтраком онѣ пойдут по саду к рѣкѣ, будут раздѣваться в купальнѣ, освѣщаемыя по голому тѣлу сверху синевой неба, а снизу отблеском прозрачной воды... Воображеніе всегда было живо у меня, я мысленно видѣл, как Соня и Натали станут, держась за перила лѣсенки в купальнѣ, неловко сходить по ея ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным, скользким от противнаго зеленаго бархата слизи, выросшей на них, как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, рѣшительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями — и, вся странно видная в водѣ голубовато-мѣловым тѣлом, косо разведет в разныя стороны углы рук и ног совсѣм как лягушка...

— Ну, до обѣда, ты вѣдь помнишь: обѣд в двѣнадцать, — отрицательно качая головой, сказал улан и всгал со своим пробритым подбородком, в бурых усах, соединенных с такими же баками, высокій, старчески твердый, в просторном чесучевом костюмѣ и тупоносых башмаках, с костылем в широкой рукѣ, покрытой гречкою, потрепал меня по плечу и скорым шагом ушел. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтобы выйти через сосѣдную комнату на балкон, она и вскочила,

мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищеніем. Я вышел на балкон изумленный: в самом дѣлѣ красавица! — и долго стоял там, как бы собираясь с мыслями. Я так ждал их в столовую, но, когда наконец услышал их в столовой с балкона, вдруг сбѣжал в сад, — охватил какой-то страх не то перед обѣими, с одной из которых я имѣл уже плѣнительную тайну, не то больше всего перед Натали, перед тѣм мгновенным, чѣм она ослѣпила меня в своей быстротѣ. Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба, в рѣчной низменности, наконец преодолѣл себя, вошел с напускной простотой и встрѣтил веселую смѣлость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных рѣсниц сіяющую черноту своих глаз, особенно поразительную при цвѣтѣ ея волос:

— Мы уже видѣлись!

Потом мы стояли на балконѣ, облокотясь на каменную баллюстраду, с лѣтним удовольствіем чувствуя, как горячо печет нам раскрытыя головы, и Натали стояла возлѣ меня, а Соня, обняв ее и будто разсѣяннo глядя куда-то, с усмѣшкой напѣвала: «Средь шумнаго бала случайно...» Потом выпрямилась:

— Ну, купаться! В первую очередь мы, потом пойдешь ты...

Натали побѣжала за простынями, а она задержалась и шепнула мнѣ:

— Изволь с нынѣшняго дня притворяться, что ты влюбился в Натали. И берегись, если окажется, что тебѣ притворяться не надо.

И я чуть не отвѣтил с веселой дерзостью, что да, уже не надо, и вмѣстѣ с тѣм поспѣшно и горячо пробормотал:

— Хорошо, хорошо. Но только, ради Бога, зайди ко мнѣ перед уходом хоть на секунду.

Она отвѣтила, качнув головой:

— Нѣтъ, я ошиблась, — ты глуп. Приду послѣ обѣда.

Когда онѣ вернулись, пошел в купальню я — сперва по длинной березовой аллеѣ, потом среди разных старых деревь-

ев побережья, гдѣ тепло пахло рѣчной водой и орали на вершинах грачи, шел и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Натали и о Сонѣ, о том, что я буду купаться в той-же водѣ, в которой только что купались онѣ...

Послѣ обѣда среди всего того счастливаго, безцѣльнаго, привольнаго и спокойнаго, что глядѣло из сада в открытыя окна, — небо, зелень, солнце, — послѣ долгаго обѣда с окрошкой, жареными цыплятами и малиной со сливками, за которым я втайнѣ замирал от присутствія Натали и от ожиданія того часа, когда затихнет весь дом на послѣобѣденное время, и Соня (вышедшая к обѣду с темнокрасной бархатистой розой в волосах) тайком прибѣжит ко мнѣ, чтобы продолжить вчерашнее уже не на-спѣх и не как нибудь, я тотчас ушел в свою комнату и притворил сквозные ставни, стал ждать ее, лежа на турецком диванѣ, слушая жаркую тишину усадьбы и уже томное пѣніе птиц в саду, из котораго шел в ставни сладкій от цвѣтов и трав воздух, и безвыходно думал: как же мнѣ теперь жить в этой двойственности — в тайных свиданіях с Соней и рядом с Натали, одна мысль о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядѣть на нее только с тѣм радостным обожаніем, с которым я давеча глядѣл на ея тонкій склоненный стан, на острые дѣвичьи локти, которыми она, полустоя, опиралась на нагрѣтый солнцем старый камень баллюстрады? Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюарѣ с оборками похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину, а она, в холстинковой юбочкѣ и вышитой мало-россійской сорочкѣ, под которыми угадывалось все юное совершенство ея сложенія, казалась чуть не подростком. В том-то и была высшая радость, что я даже помыслить не смѣл о возможности поцѣловать ее с тѣми же чувствами, с какими цѣловал вчера Соню. В легком и широком рукавѣ сорочки, вышитой по плечам красным и синим, была видна ея тонкая рука, к сухо-золотистой кожѣ которой прилегали рыжеватые волоски, — я глядѣл и думал: что испытал бы я, если бы по-смѣл коснуться их губами! И, чувствуя мой взгляд, она вски-

нула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку, обвитую плетью довольно крупной косы. Я отошел и поспѣшно опустил глаза, увидав ея ноги сквозь просвѣчивающей на солнцѣ подол юбки и тонкія, крѣпкія, породистыя щиколки в сѣром прозрачном шелкѣ.

Соня, с розой в волосах, быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнула: «Как, ты спал!» Я вскочил — что ты, что ты, мог ли я спать! — и схватил ея руки. «Запри дверь на ключ...» Я кинулся к двери, она сѣла на диван, закрывая глаза, — «ну, иди ко мнѣ» — и мы сразу потеряли всякій стыд и разсудок. Мы не проронили почти ни слова за эти минуты, и она, во всей прелести своего жаркаго тѣла, позволяла цѣловать себя уже всюду — только цѣловать — и все сумрачнѣй закрывала глаза, все больше разгоралась лицом. И опять, уходя и поправляя волосы, шепотом пригрозила:

— А что до Натали, то повторяю: берегись перейти за притворство. Характер у меня вовсе не такой милый, как можно думать!

Роза валялась на полу. Я спрятал ее в стол, и к вечеру ея темнокрасный бархат стал вялым и лиловым.

III

Жизнь моя пошла внѣшне обыденно, но внутренно я не знал ни минуты покоя, все больше и больше привязываясь к Сонѣ, к сладкой привычкѣ изнурительно-страстных свиданій, с ней по ночам, — она теперь приходила ко мнѣ только поздно вечером, когда весь дом засыпал, — и все мучительнѣе и восторженнѣе слѣдя тайком за Натали, за каждым ея движеніем. Все шло обычным лѣтним порядком: встрѣчи утром, купанье перед обѣдом и обѣд, потом отдых по своим комнатам, потом сад, — онѣ что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллеѣ и заставляя меня читать вслух Гончарова, или варили варенье на тѣнистой полянѣ под дубами, недалеко

от дома, вправо от балкона; в пятом часу чай на другой полянѣ, влѣво, вечером прогулки или крокет на широком дворѣ перед домом, — я с Натали против Сони или она с Натали против меня, — в сумерки ужин в столовой... Послѣ ужина улан уходил спать, а мы еще долго сидѣли в темнотѣ на балконѣ, мы с Соней шутя и куря, а Натали молча. Наконец Соня говорила: «Ну, спать!» — и, простясь с ними, я шел к себѣ, с холодѣющими руками ждал того завѣтного часа, когда весь дом станет темен и так тих, что слышно, как непрерывно тикающей ниточкой бѣгут карманные часы у моего изголовья под нагорѣвшей свѣчей, и все дивился, ужасался: за что так наказал меня Бог, за что дал сразу двѣ любви, такія разныя и такія страстныя, такую мучительную красоту обожанія Натали и такое тѣлесное упоеніе Соней — да и не только тѣлесное: она уже влюблялась в меня, все больше влюблялся в нее и я, чувствовал, что вот-вот мы не выдержим нашей неполной близости, что она вдруг даст мнѣ все и что я совсѣм сойду тогда с ума от ожиданія наших ночных встрѣч и от ощущенія их потом весь день, и все это рядом с Натали! Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вмѣстѣ с тѣм наединѣ говорила мнѣ:

— Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали не достаточно просты. Папа, мнѣ кажется, начинает что-то замѣчать, Натали тоже, а нянька, конечно, уже увѣрена в нашем романѣ и небось наушничает папѣ. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем, читай ей этот несносный «Обрыв», уводи ее иногда гулять по вечерам... Это ужасно, я вѣдь замѣчаю, как идиотски ты пялишь на нее глаза, временами чувствую к тебѣ ненависть, готова, как какая-нибудь Одарка, вцѣпиться при всѣх тебѣ в волосы, да что же мнѣ дѣлать?

Ужаснѣе всего было то, что, как мнѣ казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное, Натали. Она, и без того молчаливая, становилась все молчаливѣе, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились, но вот я как-то пошутил, сидя с

ней вдвоем в гостиной, гдѣ она перелистывала ноты, полулежа на диванѣ:

— А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся.

Она рѣзко глянула на меня:

— Как это?

— Мой кузэн, Алексѣй Николаевич Мещерскій..

Она не дала мнѣ договорить:

— Ах, вот что! Ваш кузэн, этот упитанный, весь заросшій чернымн блестящими волосами, картавящій великан с красным сочным ртом... И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?

Я испугался:

— Натали, Натали, за что вы так строги ко мнѣ! Даже пошутить нельзя! Ну, простите меня, — сказал я, беря ея руку.

Она не отняла руки и сказала:

— Я до сих пор не понимаю вас... не знаю вас... Но довольно об этом...

Чтобы не видать ея томительно влекущих теннисных бѣлых башмачков, вкось подобранных на диванѣ, я встал и вышел на балкон. Заходила из-за сада туча, тускнѣл воздух, все шире и ближе шел по саду мягкій лѣтній шум, сладко дуло полевым дождевым вѣтром, и меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то безпричинное, на все согласное счастье, что я крикнул:

— Натали, на минутку!

Она подошла к порогу:

— Что?

— Вздохните — какой вѣтер! Какой радостью могло-бы быть все!

Она помолчала:

— Да.

— Натали, как вы неласковы со мной! Вы что-то имѣете против меня?

Она взглянула на меня гордо и строго:

— Что и почему я могу имѣть против вас?

Вечером, лежа в темнотѣ в плетеных креслах на балконѣ, мы всѣ трое молчали, — звѣзды только кое-гдѣ мелькали в темных облаках, слабо тянуло со стороны рѣки вялым вѣтром, там дремотно журчали лягушки.

— К дождю, спать хочется, — сказала Соня, подавляя зѣвок. — Нянька сказала, родился молодой мѣсяц и теперь с недѣлю будет «обмываться». — И помолчав, добавила: — Натали, что вы думаете о первой любви?

Натали твердо откликнулась из темноты:

— Я о любви еще почти ничего не знаю, в одном убѣждена: в различіи первой любви юноши и дѣвушки.

Соня подумала:

— Ну, и дѣвушки бывают разные...

И рѣшительно встала:

— Нѣтъ, спать, спать!

Из желанія, чтобы Соня поскорѣе пришла ко мнѣ, я поспѣшил сказать:

— Да, ляжем пораньше, очень, правда, клонит ко сну, и лягушки эти, конечно, к дождю... Пойду и я...

— А я еще подремлю тут, мнѣ ночь нравится, — сказала Натали.

Я прошептал, слушая удаляющіеся шаги Сони:

— Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами. Будьте со мной добрѣе!

Она отвѣтила:

— Да, да, мы нехорошо говорили. Да, надо быть проще и добрѣе...

На другой день мы встрѣтились как будто спокойно. Ночью шел тихій дождь, но утром погода разгулялась, послѣ обѣда опять стало сухо и жарко. Перед чаем в пятом часу, когда Соня дѣлала какіе-то хозяйственные подсчеты в кабинетѣ улана, мы сидѣли в березовой аллеѣ и пытались продолжать чтеніе вслух «Обрыва». Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой, я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на ея лѣвую руку, видную в ру-

кавѣ, на рыжеватые волоски, прилегавшіе к ней выше кисти и на такіе-же там, гдѣ ея шея переходила в плечо, и читал все оживленнѣе, не понимая ни слова. Наконец сказал:

— Ну, теперь почитайте вы...

Она разогнулась, под тонкой сорочкой обозначились точки ея груди, отложила шитье и, опять наклонясь, низко опустив свою странную и чудесную голову и показывая мнѣ затылок и начало плеча, положила книгу на колѣни, стала читать скорым и невѣрным голосом. Я глядѣл на ея поджатые руки, на колѣни под книгой, думал: «Она показалась мнѣ подростком оттого, что ходит в этих мягких тенисных башмачках», и изнемогал от неистовой любви к звуку ея голоса. В разных мѣстах предвечерняго сада вскрикивали налету иволги, против нас высоко висѣл, прижавшись к стволу сосны, одиноко росшей в аллеѣ среди берез, красновато-сѣрый дятел...

— Натали, какой удивительный цвѣт волос у вас! А коса немного темнѣе, цвѣта спѣлой кукурузы...

Она продолжала читать.

— Натали, дятел, посмотрите!

Она взглянула вверх:

— Да, да, я его уже видѣла, и нынче видѣла, и вчера видѣла... Не мѣшайте читать.

Я помолчал, потом снова:

— Посмотрите, как это похоже на засохших сѣрых червячков.

— Что, гдѣ?

Я указал ей на скамью между нами, на засохшій птичій известковый помет:

— Правда?

И взял и сжал ея руку, бормоча и смѣясь от счастья:

— Натали, Натали!

Она тихо и долго поглядѣла на меня, потом недоумѣнно выговорила:

— Но вы же любите Соню!

Я покраснѣл, как пойманный мошенник, но с такой горя-

чей поспѣшностью отрекся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы:

— Это неправда?

— Неправда, неправда! Я ее очень люблю, но как сестру, вѣдь мы знаем друг друга с дѣтства!

IV

На другой день она не вышла ни утром ни к обѣду — «Соня, что с Натали?» — спросил улан, и Соня отвѣтила, нехорошо засмѣявшись:

— Лежит все утро в распашенкѣ, нечесанная, по лицу видно, что ревѣла, принесли ей кофе — не допила... Что такое? «Голова болит.» — Уж не влюбилась-ли!

— Очень просто, — сказал улан бодро, с одобрительным намеком взглянув на меня, но отрицая головой.

Вышла она она только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мнѣ привѣтливо и как будто чуть виновато, удивив меня этой живостью, улыбкой и нѣкоторой новой нарядностью: волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, платье другое, из чего-то почти прозрачнаго зеленаго, цѣльное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехватѣ на талии, туфельки черные, на высоких каблучках, — я внутренно ахнул от новаго восторга. Я, сидя на балконѣ, просматривал «Историческій Вѣстник», нѣсколько книг котораго дал мнѣ улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и нѣсколько смущенной привѣтливостью:

— Добрый вечер. Идем чай пить. Сегодня за самоваром я. Соня нездорова.

— Как? То вы, то она?

— У меня просто слегка болѣла голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок...

— До чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах! — сказал я. И вдруг спросил, краснѣя:

— Вы вчера мнѣ повѣрили?

Она тоже покраснѣла — тонко и ало — и отвернулась:

— Не сразу, не совсѣм. Потом вдруг сообразила, что не мнѣ дѣло до ваших с Соней чувств? Вѣдь тут мнѣ было неприятно только то, что она сестра вам... Но идем...

К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мнѣ:

— Я заболѣла. У меня это проходит всегда очень тяжело, дней пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра нѣт. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную.

— Неужто даже не заглянешь нынче ко мнѣ?

— Нѣт, нѣт, нѣт...

Это было и счастье и несчастье: пять дней полной свободы с Натали и пять дней не видать по ночам у себя Сони!

С недѣлю правила домом, всѣм распорядилась, ходила в бѣлом передничкѣ через двор в поварскую Натали — я никогда еще не видал ее такой дѣловитой, видно было, что роль замѣстительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей истинное удовольствіе и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Всѣ эти дни, пережив за обѣдом сперва тревогу, все-ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо и старик повар и Христя, хохлушка горничная, приносили и подавали во время, не раздражая улана, она послѣ обѣда уходила к Сонѣ, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечерняго чая, а послѣ ужина весь вечер. Оставаться со мной наединѣ она, очевидно, избѣгала и я недоумѣвал, скучал и страдал в одиночествѣ. Почему стала ласкова, а избѣгает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мнѣ? И страстно хотѣлось вѣрить, что себя, и я упивался все крѣпнущей мечтой: не на вѣк-же я связан с Соней, не вѣк-же мнѣ — да и Натали — гостить тут, через недѣлю-другую я все равно должен буду ѣхать — и тогда конец моим мученіям... найду предлог поѣхать познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернется домой... Уѣхать от Сони да еще с

обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ея любовь и руку, будет, конечно, очень больно, — развѣ с одной только страстью цѣлюю я Соню, развѣ я не люблю и ее? — но что-же дѣлать, этого, рано или поздно, все равно не избѣжишь... И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волненіи, в ожиданіи чего-то, я старался вести себя с Натали как можно сдержаннѣе, милѣе, расположить ее к себѣ выказываніем своих наилучших качеств — и терпѣть, терпѣть до поры до времени. Я страдал, скучал, — как нарочно дня три шел дождь, мѣрно бѣжал, стучал тысячами лапок по крышѣ, в домѣ было сумрачно, на потолокъ и на лампы в столовой спали мухи, — но крѣпился, по часам сидѣлъ иногда в кабинетѣ улана, слушая его всякіе рассказы...

Соня начала выходить сперва в халатикѣ, на час, на два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконѣ в кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в мѣру нѣжно, не стѣсняясь присутствіем Натали:

— Посиди возлѣ меня, Витик, мнѣ больно, мнѣ грустно, расскажи что-нибудь смѣшное... Мѣсяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется; опять распогодилось и как сладко пахнет цвѣтами...

Я, втайнѣ раздражаясь, отвѣчал:

— Раз цвѣты сильно пахнут, будет опять обмываться.

Она била меня по рукѣ:

— Не смѣй возражать больной!

Наконец стала выходить и к обѣду и к вечернему чаю, только еще блѣдная и приказывая подавать себѣ кресло. Но к ужину и на балкон послѣ ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мнѣ послѣ вечерняго чая, когда она ушла к себѣ и Христа понесла со стола самовар в поварскую:

— Соня сердится, что я все сижу возлѣ нея, что вы все один и один. Она еще не совсѣм поправилась, а вы без нея скучаете.

— Я скучаю только без вас, — отвѣтил я. — Когда вас нѣтъ...

Она измѣнилась в лицѣ, но справилась, с усиліем улыбнулась:

— Но мы же условились не ссориться больше... Послушайте лучше вот что: вы засидѣлись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду, предсказанія насчет мѣсяца, слава Богу, не сбылись, ночь будет прекрасная...

— Сонѣ меня жаль, а вам? Нисколько?

— Страшно жаль, — отвѣтила она и неловко засмѣялась, ставя на поднос чайную посуду. — Но, слава Богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать...

При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: да нѣтъ! это просто только ласковое слово! Я пошел к себѣ и долго лежал, глядя на потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и безсознательно вышел из усадьбы на широкой шлях, пролегавшей между усадьбой и хохлацкой деревней, немного выше ея, на степном голом взгорьи. Шлях вел в пустыя, вечернія поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала рѣчная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустыя поля, там только что сѣло солнце, горѣл закат. Справа краснѣл против него правильный ряд бѣлых одинаковых хат точно вымершей деревни, и я с тоской смотрѣл то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстрѣчу тянуло то теплым, то почти горячим вѣтром и уже свѣтил в небѣ молодой мѣсяц, блестѣла половина его, не сулившая ничего добраго: как прозрачная паутина, видна была и другая половина, а все вмѣстѣ напоминало жолудь.

За ужином — ужинали на этот раз тоже в саду, в домѣ было жарко, — я сказал улану:

— Дядя, что вы думаете о погодѣ? Мнѣ кажется, завтра будет дождь.

— Почему, мой друг?

— Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас...

— Это почему?

Натали тоже вскинула на меня глаза:

— Вы собираетесь уѣзжать?

Я притворно засмѣялся:

— Не могу-же я...

Улан особенно энергично закачал головой, на этот раз кстати:

— Вздор, вздор! Папа и мама могут еще потерпѣть разлуку с тобой. Раньше двух недѣль я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит.

— Я не имѣю никаких прав на Виталія Петровича, — сказала Натали.

Я жалобно воскликнул:

— Дядя, запретите Натали называть меня так!

Улан хлопнул ладонью по столу:

— Запрещаю. И довольно болтать о твоём от'ѣздѣ. Вот насчет дождя ты прав, вполне возможно, что погода опять испортится.

— В полѣ было уж слишком чисто, ясно, — сказал я. — И мѣсяц очень чист и похож на жолудь и дуло с юга. И вот видите, уже находят облака...

Улан повернулся, посмотрѣл в сад, гдѣ то мерк, то разгорался лунный свѣт:

— Из тебя, Виталій, выйдет отличный Брюс...

Когда он ушел, я еще посидѣл за столом, глядя, как Натали молча помогает Христѣ, уносившей посуду в поварскую. Потом, глупо ухмыляясь, стал декламировать:

А вчера у окна ввечеру
Долго, долго сидѣла она
И слѣдила по тучам игру,
Что, скользя, затѣвала луна...

— Да вы поэт! — с неприязненной усмѣшкой сказала Натали и пошла по свѣтлому двору в поварскую.

В десятом часу она вышла на балкон, гдѣ я сидѣл, ожидая ее, в уныніи думая: да, все это вздор, если у нея и есть

какія-то чувства ко мнѣ, то совсѣм не серьезныя, перемѣнчивыя, мимолетныя... Молодой мѣсяц играл все выше и ярче в горах все больше скоплавшихся облаков, дымчато-бѣлых, величаво загромождавших небо, и когда выходил из за них своей бѣлой половинкой, похожей на человѣческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-блѣдное, все озарялось, заливалось фосфорическим свѣтом. Вдруг я оглянѣлся, почувствовал что-то: Натали стояла на порогѣ, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал, она безразлично спросила:

— Вы еще не спите?

— Но вы же мнѣ сказали...

— Простите, я очень устала нынче. Проидетесь по аллеѣ и я пойду спать.

Я пошел за ней, она пріостановилась на ступенькѣ балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч поднимались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молніями. Потом вошла под длинный прозрачный навѣс березовой аллеи, в пятна свѣта и тѣни. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь:

— Как волшебнo блестят вдали березы. Нѣтъ ничего страннѣе и прекраснѣе внутренности лѣса в лунную ночь и этого бѣлаго шелковаго блеска березовых стволов в его глубинѣ...

Она остановилась, в упор мнѣ чернѣя в сумракѣ глазами:

— Вы правда уѣзжаете?

— Да, пора.

— Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь: вы меня давеча поразили, сказав, что уѣзжаете.

— Натали, можно мнѣ пріѣхать представиться вашим, когда вы вернетесь домой?

Она промолчала. Я взял ея руки, поцѣловал, весь замирая, правую.

— Натали...

— Да, да, я вас люблю — сказала она, поспѣшно и невыразительно.

Я взял ее за талию, она отклонила голову, я коснулся ее рта. Она не отвѣтила ни малѣйшим движеніем губ, я уронил руки, и она пошла назад, к дому. Я лунатически пошел за ней.

— Уѣзжайте завтра-же, — сказала она на ходу, не оборачиваясь. — Я вернусь домой через нѣсколько дней.

V

Войдя к себѣ, я, не зажигая свѣчи, сѣл на диван и застыл, оцѣпенѣл в том страшном и дивном, что так внезапно и неожиданно совершилось в моей жизни. Я сидѣл, потеряв всякое представленіе о мѣстѣ и времени. Комната и сад уже потонули в темнотѣ от туч, в саду, за открытыми окнами, все шумѣло, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту-же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромнаго свѣта все увеличивались, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свѣжим вѣтром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, загорается земля и небо! Я вскочил, с трудом закрыл одно за другим окна, преодолевая трепавшій меня вѣтер, и на цыпочках побѣжал по темным коридорам в столовую: мнѣ, казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в столовой и гостиной, гдѣ буря могла перебить стекла, но я все-таки побѣжал и даже с большой озабоченностью. Всѣ окна в столовой и гостиной оказались закрыты — я увидал это в том зелено-голубом озареніи, в цвѣтѣ, яркости и силѣ котораго было по-истинѣ что-то неземное, сразу раскрывавшее всюду, точно быстрые глаза, и дѣлавшее огромными и видимыми до послѣдняго переплета всѣ оконныя рамы, а затѣм тотчас же все затоплявшее густым мраком, на секунду оставляя в ослѣпшем зрѣніи слѣд чего-то жестяного, потом краснаго. Когда же ошупью поспѣшил назад, — непонятно, почему я не зажег свѣчу и не побѣжал в столовую с ней, — вѣрно, в согласіи с тѣм таинственным, что

творилось вокруг дома, — когда быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шопот:

— Гдѣ ты был? Мнѣ страшно, зажги скорѣй огонь...

Я чиркнул спичкой и увидѣл сидѣвшую на диванѣ Соню в одной ночной рубашкѣ, в туфлях на босу ногу.

— Или нѣтъ, нѣтъ, не надо, — поспѣшно сказала она, — иди скорѣе ко мнѣ, обними меня, я боюсь...

Я покорно сѣл и обнял ее за холодныя плечи. Она зашептала:

— Ну поцѣлуй же меня, поцѣлуй, я цѣлую недѣлю не была с тобой!

И с силой откинула меня и себя на подушки дивана:

— Возьми, возьми меня совсѣм! Я больше не могу!

И в ту же минуту на порогѣ растворенной двери появилась Натали в своей распашенкѣ, со свѣчей в рукѣ. Она сразу увидала нас, но все-таки бессознательно крикнула тѣ приготовленные слова, с которыми выбѣжала из своей спальни:

— Соня, гдѣ ты? Я страшно боюсь...

И тотчас же исчезла. Соня кинулась вслѣд за ней.

VI

Через год она вышла за Мещерскаго. Вѣнчали ее в его Благодатном при пустой церкви — и мы и прочіе родные и знакомые с его и с ея стороны получили только извѣщенія о свадьбѣ. И обычных послѣ свадьбы визитов молодые не дѣлали, тотчас уѣхали в Крым.

В январѣ слѣдующаго года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благородном Собраніи в Воронежѣ. Я проводил святки дома, нарочно остался в деревнѣ до бала и пріѣхал в тот вечер в город. Поѣзд пришел весь бѣлый, дымящійся снѣгом от вьюги, по дорогѣ со станціи и в городѣ, пока извожичьи санки несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшіе сквозь вьюгу огни фонарей, но послѣ деревни эта городская вьюга и городскіе огни возбуж-

дали, сулили близкое удовольствіе войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодѣваться, готовиться к долгой бальной ночи и студенческому пьянству до разсвѣта. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ея замужества, я постепенно оправился, — во всяком случаѣ привык к тому состоянію душевно-больного человѣка, которым втайнѣ был, и внѣшне жил как всѣ.

Когда я пріѣхал, бал только начался, но уже полны были все прибывающим народом парадныя лѣстницы и площадка на ней, а из главной залы, с ея хор, все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально-торжествующими тактами вальса. Еще свѣжій с мороза, в новеньком мундирѣ и от этого не в мѣру изысканно, с излишней вѣжливостью пробираясь в толпѣ по красному ковру лѣстницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стѣснившуюся перед дверями залы, и зачѣм-то стал пробираться дальше с такой настойчивостью, что меня приняли, вѣрно, за распорядителя, имѣющаго в залѣ неотложное дѣло, и всячески стали помогать мнѣ. И я наконец пробрался, остановился на порогѣ, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсѣ, — и вдруг подался назад: из всей этой кружившейся толпы внезапно выдѣлилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летѣвшая среди всѣх прочих все ближе ко мнѣ. Я отшатнулся, глядя, как он, нѣсколько сутулый в вальсированіи, велик, дороден, весь черен блестящими черными волосами и фраком и легок той легкостью, которой удивляют в танцах нѣкоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическѣ, в бальном бѣлом платьѣ и стройных золотых туфельках, кружившаяся нѣсколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в бѣлой перчаткѣ до локтя таким изгибом, который дѣлал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черныя рѣсницы ея взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсѣм

близко, но тут он, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ея пріоткрылись вздохом на поворотѣ, — тѣ губы, которых я когда-то лишь коснулся, — серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли плавными глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадкѣ, выбрался из нея, постоял... В двери залы наискось против меня, еще совсѣм пустой и прохладной, видны были стоявшія в праздном ожиданіи за буфетом с шампанским двѣ курсистки в малороссійских нарядах, — хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица казачка, чуть не вдвое выше ея ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Онѣ, столкнувшись головами и засмѣявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерѣшительно переглянулись — откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу — *Gaudeamus igitur!* — остальное допил бокал за бокалом один. Онѣ смотрѣли на меня сперва с удивленіем, потом с жалостью:

— Ой, но вы и так страшно блѣдный!

Я допил и тотчас уѣхал. В гостиницѣ спросил в номер бутылку кавказскаго коньяку и стал пить чайными чашками, в надеждѣ, что у меня разорвется сердце.

И прошло еще полтора года. И однажды в концѣ мая, когда я опять пріѣхал из Москвы домой, нарочный со станціи привез телеграмму из Благодатнаго: «Сегодня утром Алексѣй Николаевич скоропостижно скончался от разрыва сердца». Отец перекрестился и сказал:

— Царство Небесное. Какой ужас. Прости меня Боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно. Вѣдь ему еще и сорока не было. И ее ужасно жаль — вдова в такіе годы, с ребенком на руках... Никогда ее не видал, — он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мнѣ, — но, говорят, очаровательна. Как же теперь быть? Ни я ни мама ѣхать при нашей старости за полтораста верст, конечно, не можем, надо ѣхать тебѣ...

Отказаться было нельзя, — в силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезуміи, в которое опять вдруг повергла меня эта удивительная вѣсть. Я одно знал: я ее увижу! Предлог для встрѣчи был страшный, но законный.

Мы послали отвѣтную телеграмму, и на второй день, майской вечерней зарею, лошади из Благодатнаго в полчаса доставили меня со станціи в усадьбу. В'ѣзжая в нее по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали увидал, что по западной стѣнѣ дома, обращенной к еще свѣтлому закату за лугами, всѣ окна закрыты ставнями, и содрогнулся от того, что рѣшился поѣхать, — за ними лежал он и была она! Во дворѣ, густо заросшем молодой кудрявой травой, погромыхивали бубенчиками возлѣ каретнаго сарая чьи-то двѣ тройки, но не было ни души, кромѣ кучеров на козлах, — и пріѣзжіе и дворня уже стояли в домѣ на панихидѣ. Всюду была тишина деревенской майской зари, весенняя чистота, свѣжесть и новизна всего — полевого и рѣчного воздуха, этой молодой густой травы во дворѣ, густого цвѣтущаго сада, надвинувшагося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парадном крыльцѣ, у настезь раскрытых в сѣни дверей, стоймя прислонена была к стѣнѣ большая желтая газетовая крышка гроба. В тонком холодкѣ вечерняго воздуха сильно пахло сладким цвѣтом груш, молочно бѣлѣвших своей бѣлой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклонѣ, гдѣ горѣл один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ея красотѣ и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мнѣ сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью — как вступить в этот дом, вновь увидеть ее лицом к лицу послѣ трех лѣт разлуки и уже вдовой, матерью! И все же я вошел в сумрак и ладан этой страшной залы, испещренной желтыми свѣчными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшимся своим возглавіем в передній угол, оза-

ренный сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным, текучим блеском трех высоких церковных свѣчей, — вошел под возгласы и пѣніе священнослужителей, с кажденіем и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову, чтобы не видѣть желтой парчи на гробѣ и лица покойника, пуще же всего боясь увидѣть ее. Кто-то подал мнѣ зажженную свѣчу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, грѣет и освѣщает мнѣ лицо, стянутое блѣдностью, и с тупой покорностью слушая эти возгласы и бряцаніе кадила, исподлобья видя плывущій к потолку торжественно и приторно пахнущій дым, и вдруг, подняв лицо, все-таки увидал ее, — впереди всѣх, в траурѣ, со свѣчей в рукѣ, озарявшей ея щеку и золотистость волос, — и уже, как от иконы, не мог оторвать от нея глаз. Когда все смолкло, запахло потушенными свѣчами и всѣ осторожно задвигались и пошли цѣловать ея руку, я ждал, чтобы подойти послѣдним. И, подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность ея черного платья, дѣлавшаго ее особенно непорочной, на чистую, молодую красоту лица, рѣсниц и глаз, тотчас же при видѣ меня опустившихся, низко, низко поклонился, цѣлуя ея руку, сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, слѣдуя приличію и родству, и попросил разрѣшенія тотчас же уйти и ночевать в павильонѣ в саду, в той старинной ротондѣ, в которой я ночевал еще гимназистом, пріѣзжая в Благодатное, — там была спальня Мещерскаго на жаркія лѣтнія ночи. Она отвѣтила, не поднимая глаз:

— Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин.

Утром, послѣ отпѣванія и погребенія, я немедленно уѣхал.

Прощаясь, мы опять обмѣнялись только нѣсколькими словами и опять не глядѣли друг другу в глаза.

VII

Я кончил курс, потерял вскорѣ послѣ того почти одновременно отца и мать, поселился в деревнѣ, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в домѣ и служившей в комнатах моей матери... Теперь она, вмѣстѣ с Иваном Лукичем, нашим бывшим дворовым, сѣдым до зелени стариком с большими лопатками, служила мнѣ. Вид она имѣла еще полудѣтскій — маленькая, худенькая, черноволосая, с ничего не выражающими глазами цвѣта сажи, загадочно-молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная тонкой кожей, что отец говорил: «Вот, вѣрно такая была Агарь». Мила она была безконечно, я любил носить ее на руках, цѣлуя; я думал: «вот и все, что осталось мнѣ в жизни!» и она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила, — маленькаго, черненѣкаго мальчнка, — и перестала служить, поселилась в моей прежней дѣтской, я хотѣл повѣнчаться с нею. Она отвѣтила:

— Нѣтъ, мнѣ этого не нужно, мнѣ только стыдно будет перед всѣми, какая-же я барыня! А вам зачѣм? Вы меня тогда еще скорѣй разлюбите. Вам надо поѣхать в Москву, а то вы совсѣм соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду, — сказала она, глядя на ребенка, кóторый на руках у нея сосал грудь. — Поѣзжайте, поживите в свое удовольствіе, только одно помните: если влюбитесь в кого как слѣдует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю, утоплюсь вот вмѣстѣ с ним.

Я посмотрѣлъ на нее — ей не вѣрить было невозможно. И поник головой: да, а мнѣ вѣдь всего двадцать шесть лѣтъ... Влюбиться, жениться — этого я и представить себѣ не мог, но слова Гаши еще раз напомнили мнѣ о моей конченной жизни.

Ранней весной я уѣхал в Париж и провел там мѣсяца четыре. Возвращаясь в концѣ іюня через Москву домой, думал так: проживу осень в деревнѣ, а на зиму опять куда-нибудь

уѣду. По дорогѣ из Москвы в Тулу спокойно грустил: вот и опять я дома, а зачѣм? Вспомнил Натали — и развел руками: да, да, та любовь «до гроба», которую насмѣшливо предрекала мнѣ Соня, существует; только я уж привык к ней, вродѣ того как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрѣзали, на примѣр, руку... И, сидя на вокзалѣ в Тулѣ в ожиданіи пересадки, послал телеграмму: «Ѣду из Москвы мимо вас, буду на вашей станціи в девять вечера, позвольте заѣхать, узнать, как вы поживаете.»

Она встрѣтила меня на крыльцѣ, — сзади нея свѣтила лампой горничная, — и с полуулыбкой протянула мнѣ обѣ руки:

— Я страшно рада!

— Как это ни странно, вы еще немного выросли, — сказал я, цѣлуя и чувствуя их уже с мученіем. И взглянул на нее на всю при свѣтѣ лампы, которую приподняла горничная и вокруг стекла которой, в мягком послѣ небольшого дождя воздухѣ, кружились мелкія розовыя бабочки: черные глаза смотрѣли теперь тверже, увѣреннѣе, вся она была уже в полном расцвѣтѣ молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная — в платьѣ из зеленой чесучи и с таким же поясом.

— Да, я все еще расту, — отвѣтила она, грустно усмѣхаясь.

В залѣ по-прежнему висѣла в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажженная. Я поспѣшил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовкѣ, блестѣла тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикули, высокій графинчик с водкой, бутылку лафиту. Она взялась за чайник:

— Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушайте... Вы сейчас из Москвы? Почему? Что ж там дѣлать лѣтом?

— Возвращаюсь из Парижа.

— Вот как! И долго там пробыли? Ах, еслиб я могла

поѣхать куда-нибудь! Но вѣдь моей дѣвочкѣ всего четвертый год... Вы, говорят, усердно хозяйствуете?

Я выпил рюмку водки, не закусывая, и попросил позволенія курить.

— Ах, пожалуйста!

Я закурил и сказал:

— Натали, не нужно вам быть со мной свѣтски любезной, не обращайтесь на меня особеннаго вниманія, я заѣхал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости — вѣдь все, что было, былѣем поросло и прошло без возврата. Вы не можете не видѣть, что я опять ослѣплен вами, но теперь вас никак не может стѣснять мое восхищеніе — оно теперь безкорыстно и спокойно...

Она склонила голову и рѣсницы, — к дивной противоположности того и другого никогда нельзя было привыкнуть, — и лицо ея стало медленно розовѣть.

— Это совершенно точно, — сказал я, блѣднѣя, но крѣпнущим голосом, сам себя увѣряя, что говорю правду. — Вѣдь все-таки все на свѣтѣ проходит. Что же до моей страшной вины перед вами, то я увѣрен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо болѣе понятна, простибельна, чѣм прежде: вина моя была все-таки не совсѣм вольная и даже и в ту пору заслуживала снисхожденія по моей крайней молодости и по тому удивительному стеченію обстоятельств, в которое я попал. И потом, я уже достаточно наказан за эту вину — всей своей гибелью.

— Гибелью?

— А развѣ не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то?

Она не отвѣтила, помолчала.

— Я видѣла вас на балу в Воронежѣ... Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна! — Хотя развѣ бывает несчастная любовь? — сказала она, поднимая лицо и спрашивая всѣм черным раскрытіем глаз и рѣсниц. — Развѣ самая скорбная в мірѣ музыка не дает счастья? — Но раз-

скажете мнѣ о себѣ, неужели вы навсегда поселились в деревнѣ?

Я с усилием спросил:

— Значит, вы тогда меня еще любили?

— Да.

Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем.

— Это правда, что я слышала... что у вас есть любовь, ребенок?

— Это не любовь, — сказал я. — Страшная жалость, нѣжность, но и только.

— Расскажите мнѣ все.

И я рассказал все — вплоть до того, что сказала Гаша, посоветовавши мнѣ «поѣхать, пожить в свое удовольствіе». И кончил так:

— Теперь вы видите, что я всячески погиб...

— Полноте! — сказала она, думая что-то свое. — У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалѣет, не то что себя.

— Не в бракѣ дѣло, — сказал я. — Бог мой! Мнѣ, жениться!

Она в раздумьи посмотрѣла на меня:

— Да, да. И как странно. Ваше предсказаніе сбылось — мы породнились. Вы чувствуете, что вѣдь вы мнѣ двоюродный брат теперь?

Мнѣ как-то никогда не приходило это в голову с полной ясностью, я впервые вдруг почувствовал это и взглянул на нее с еще болѣе острой, осложнившейся страстью. Она положила руку на руку мнѣ:

— Но вы ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нѣтъ, довольно разговоров на сегодня, идите, постель для вас в павильонѣ приготовлена...

Я покорно поцѣловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно свѣтло от мѣсяца, низко стоявшаго за садом, провела меня сперва главной, потом

боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сѣл у раскрытаго окна, в кресло возлѣ постели, стал курить думая: напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заѣхал, понадѣялся на свое спокойствіе, на свои силы... Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошел еще небольшой дождь — еще теплѣе, мягче стал воздух. И в прелестном соотвѣтствіи с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пѣли вдали, в разных мѣстах села, первые пѣтухи. Свѣтлый круг мѣсяца, стоявшаго против павильона за садом, как будто замер на одном мѣстѣ, как будто выжидательно глядѣл, блестѣл среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мѣшая свой свѣт с их тѣнями. Там, гдѣ свѣт проливался, было ярко, стеклянно, в тѣни-же пестро и таинственно. И она, в чем-то длинном, темном, шелковисто блестѣвшем, подошла к окну, тоже так таинственно, неслышно...

Потом мѣсяц сіял уже над садом и смотрѣл прямо в ротонду, и мы поочередно говорили — она, лежа на постели, я, стоя на колѣнях возлѣ и держа ее руку:

— В ту страшную ночь с молніями я любил уже только тебя одну, никакой другой страсти, кромѣ самой восторженной и чистой к тебѣ, во мнѣ не было.

— Да, я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молніи, тотчас воспоминанія о том, что за час перед тѣм было в аллеѣ...

— Нигдѣ в мірѣ нѣт тебѣ подобной. Когда я давеча смотрѣл на эту зеленую чесучу и на твои колѣни под нею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновеніе к ней губамн, только к ней. И вот я только что касался ими того самаго сокровеннаго твоего, о чем прежде даже думать не мог без сердечной дурноты.

— Все это теперь твое навѣки. Ты никогда, никогда не забывал меня всѣ эти годы?

— Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышешь. И ты правду сказала: нѣт несчастной любви. Ах, эта

твоя оранжевая распашенка и вся ты, еще почти дѣвочка, мелькнувшая мнѣ в то утро, первое утро моей любви к тебѣ! Потом твоя рука в рукавѣ малороссійской сорочки. Потом наклон твоей головы, когда ты читала «Обрыв» и я бормотал: «Натали, Натали!»

— Да, да.

— А потом ты на балу — такая высокая и такая страшная в своей уже женской красотѣ, — как хотѣл я умереть в ту ночь в восторгѣ своей любви и гибели! Потом ты со свѣчей в рукѣ, твой траур и твоя непорочность в нем. Мнѣ казалось, что святой стала та свѣча у твоего лица.

— И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видѣться мы будем рѣдко — развѣ могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всѣх любовницей?

В декабрѣ она умерла на Женевском озерѣ в преждевременных родах.

Ив. Бунин.

4.IV.41.